

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН

$$E = mc^2$$

Мир, КАКИМ Я ЕГО ВИЖУ



АУДИОКНИГА
ART DICTATION STUDIO

argus

Альберт Эйнштейн

Мир, каким я его вижу

«АРДИС»

Эйнштейн А.

Мир, каким я его вижу / А. Эйнштейн — «АРДИС»,

В сборник включены статьи и письма Альберта Эйнштейна, в которых отражено отношение великого учёного к жизни, науке и окружающему его миру.

© Эйнштейн А.

© АРДИС

Альберт Эйнштейн

Мир, каким я его вижу

©&(P) Ардис, перевод, 2026

* * *

Вступление

Есть имена, которые со временем перестают быть просто фамилиями и превращаются в культурные знаки – почти в отдельные слова. «Эйнштейн» как раз из таких. Его имя произносят, когда хотят обозначить ум, дерзость мысли, научный переворот, но ещё – когда ищут пример человека, который не спрятался за кафедрой в эпоху, когда мир требовал не только знаний, но и нравственной правды. В этом и состоит редкость: Эйнштейн стал символом не одной науки, а целого способа держаться в реальности – видеть её трезво и всё-таки отказываться принимать насилие и жестокость как норму.

Если попытаться объяснить популярно, почему он один из величайших учёных, то надо сказать так: Эйнштейн не просто «продвинул» физику, он поменял её опорные столпы. До него время и пространство ощущались как неподвижная сцена, на которой разыгрываются события; после него стало ясно, что сама сцена – участник действия. Мир оказался устроен тоньше: измерения относительно к движению, гравитация не просто сила в привычном смысле, а выражение того, как устроена геометрия пространства-времени. Вся цивилизация начиная с XX века – от технологий до философии повседневности – так или иначе живёт в тени этого открытия: мы перестали быть «зрителями» в готовой вселенной и стали понимать, что описание мира зависит от того, как мы в нём движемся и как его измеряем. И это касается не только лабораторий: перемена научной картины мира всегда постепенно меняет и привычки мышления общества.

При этом биография Эйнштейна разрушает распространенный миф о гении, который сразу получает признание и вес в мировой науке. Он родился в 1879 году в Ульме, учился, искал своё место, и в какой-то момент оказался вовсе не на профессорской кафедре, а в бернском патентном бюро. Эта деталь важна именно для «вступления» к книге, которую вы держите: великие идеи родились не в атмосфере академического блеска, а в буднях человека, который ежедневно разбирал чужие технические проекты, учился отличать изящную мысль от пустого описания и привык доверять не авторитетам, а внутренней логике. Там он делал то, что будет потом свойственно ему всегда: смотрел на привычные вещи так, будто видит их впервые, и задавал вопросы, которые кажутся «детскими», пока не понимаешь, что именно они ломают замки к дверям в новую реальность.

1905 год часто называют его «часом истины», и это действительно так. В короткий период он публикует работы, которые по сути открывают сразу несколько направлений будущей науки: объясняет фотоэффект так, что в историю входит квантовый взгляд на свет; подтверждает реальность атомов через объяснение броуновского движения; формулирует специальную теорию относительности и показывает связь массы и энергии. Важно не перечисление, а характер: это были не «частные» успехи, а новые основания. Физика после этого перестала быть спокойным продолжением XIX века. Она стала поиском новых методов, способных описывать мир без устаревших «очевидных» представлений, которые раньше просто принимали на веру.

Есть интересная и поучительная деталь: Нобелевскую премию он получил не за относительность, а за фотоэффект. В ней – вся философия науки: общество признаёт новое не тогда, когда оно просто прогрессивно, а когда оно начинает работать как практический инструмент. Но Эйнштейн интересен ещё и тем, что он не укладывался в образ «узкого специалиста», которому будто бы позволено говорить только о своём. Он был слишком честен для такого разделения труда: если у человека есть способность мыслить ясно, то он рано или поздно задаётся вопросом, что делает эта ясность с жизнью людей. А XX век был устроен так, что вопрос этот нельзя было считать отвлечённым.

Но стал знаменит почти мгновенно, после публичного подтверждения общей теории относительности в конце 1910-х, и это редкий момент, когда научное событие превращается в

культурное. Эйнштейн стал лицом науки – и тут же почувствовал дискомфорт от этого статуса. Он всю жизнь недолюбливал культ личности и, парадоксальным образом, именно это делало его убедительнее: он не торговал образом и не пытался казаться пророком. Чем сильнее мир хотел назначить его символом, тем настойчивее он возвращал разговор к делу: к мысли, к ответственности, к достоинству личности. Он мог иронизировать над собой, мог раздражаться от журналистских интерпретаций, высунуть язык для фото папарацци, мог прямо говорить, что не хочет быть идиолом – но известности уже нельзя было избежать.

Так постепенно и возникла роль, которую позже назовут «совестью мира». Она не была должностью, и Эйнштейн не «назначал» себя на неё. Просто в момент, когда цивилизация переживала нарастающее нравственное помрачение, когда насилие начинали оправдывать словами, а свободу – менять на безопасность как на товар, голос человека, который привык говорить точно и не терпеть самообмана, становился особенно слышным. Эйнштейн не был политическим стратегом; его сила была в другом – в способности указывать на простые вещи, которые общество предпочитает не замечать. Например, что государство существует для людей, а не люди для государства; что война разрушает не только города, но и человеческую личность, превращая её в «материал»; что милитаризация воспитания – это фабрика национальной истерики; что свобода преподавания и независимость мысли – не роскошь интеллигенции, а основа культурного выживания. Это актуально и в наши дни.

Переломной точкой стала Германия 1930-х. Эйнштейн, еврей и известный интеллектуал, слишком ясно видел направление, в котором движется общество, когда страх начинает диктовать мораль, а «единство» требует от граждан молчания. В 1933 году он окончательно покидает Германию и связывает жизнь с Принстоном. Для нашего чтения важно даже не то, как именно складывалась его эмиграция, а то, что этот шаг был не только личной биографией, но и нравственным жестом: отказом участвовать в нормализации режима, который разрушает право и достоинство. В текстах, вошедших в эту книгу, вы почувствуете, как у него соединяются холодная ясность и человеческая сострадательность: он умеет говорить о массовой психологии без ненависти к людям – и одновременно без иллюзий о том, насколько легко толпа может стать инструментом грубой силы.

Но «совесть мира» проверяется не красивыми словами, а ситуациями, где у любого выбора есть цена. Самая трагическая из таких ситуаций – атомная дилемма. В 1939 году Эйнштейн подписывает письмо президенту Рузвельту, предупреждающее об опасности, что нацистская Германия может первой создать атомное оружие, и призывающее ускорить исследования. Его участие было именно таким: подпись, авторитет, импульс. И всё же эта подпись стала одной из тех точек, которые человек потом носит в себе как тяжесть. После войны он всё чаще говорит о необходимости ограничить ядерную гонку и искать международные механизмы, которые способны удержать мир от самоуничтожения. Уже после его смерти будет опубликован Манифест Рассела – Эйнштейна – документ, в котором звучит главная мысль эпохи атома: если конфликты решаются силой, то на кону неизбежно окажется существование человечества. В этом сюжете Эйнштейн предстаёт не как «ангел мира» и не как «виновник бомбы», а как человек, который пытается честно жить внутри противоречий времени и делать выбор в пользу меньшего зла, не оправдывая это выбором как нормой.

Есть и другая линия, не менее важная для понимания его нравственного авторитета: позиция против расизма и унижения человека. Эйнштейн воспринимал расизм не как «социальную тему», а как прямое оскорбление человеческого разума и достоинства. Ему было важно говорить об этом публично, потому что он видел, как легко общество привыкает к несправедливости, если она встроена в быт, в закон, в привычку. Его человеческая логика была проста: нельзя защищать свободу мысли и одновременно мириться с унижением людей по признаку происхождения; нельзя требовать гуманности в международной политике и закрывать глаза на

несправедливость рядом. Эта цельность – редкое качество: она делает человека неудобным, но именно она создаёт доверие.

Тогда возникает вопрос: почему вообще слова учёного способны влиять на мир? Разве наука не про факты, а политика не про интересы? Эйнштейн сам много раз показывал, что интересы без языка превращаются в грубую силу, а язык без внутренней честности – в пропаганду. Его высказывания действовали не потому, что он мог «приказать», а потому что он умел **обозначить границы**, за которыми начинается деградация. Он говорил о войне так, что она переставала быть «героическим сюжетом» и снова становилась тем, чем является: разрушением человеческой личности. Он говорил о свободе преподавания так, что это переставало быть «внутренним делом университета» и становилось вопросом здоровья общества. Он говорил о международных институтах так, что в них начинали видеть не бюрократию, а попытку заменить грубую силу правом. Его влияние было влиянием не власти, а ясности: ясность иногда слабее танков, но она долговечнее их оправданий.

Эта книга собрана именно так, чтобы вы услышали эту ясность без музейной позолоты. Здесь Эйнштейн не «бронзовый». Он может быть резким, ироничным, иногда парадоксальным. Он может ошибаться в прогнозах и недооценивать инерцию политических механизмов. Но почти всегда он точен в главном: когда общество начинает требовать от человека отказаться от самостоятельности мысли ради удобного единодушия, оно делает шаг к рабству – пусть даже под приличными словами. И когда государство начинает просить у науки не истины, а полезной легенды, наука перестаёт быть наукой и становится обслуживанием силы.

Поэтому читать этот том лучше всего как непрерывный разговор о человеческом достоинстве в век, когда достоинство постоянно пытались заменить дисциплиной, страхом, национальным тщеславием или технологической «неизбежностью». Эйнштейн интересен тем, что он сопротивлялся всем этим заменам одним и тем же способом – простым и требовательным: он настаивал на праве личности думать и на обязанности личности отвечать за последствия своих мыслей. В его мире не существует удобного разделения на «моё» и «не моё», если на кону – судьба человека как личности.

И, пожалуй, самое важное: он был великим учёным именно потому, что умел удивляться. Удивление – это не романтика. Это интеллектуальная дисциплина: способность не принимать привычное за истину. В науке это приводит к открытиям. В общественной жизни это приводит к сопротивлению возведения зла в норму. Эйнштейн, кажется, понимал это глубже многих: тот, кто разучился удивляться и сомневаться, становится легко управляемым – и легко согласным на жестокость, потому что «так принято».

1. Жить не зря: смысл, ценность, внутренний компас

Как я вижу мир

(Перевод с нем. "Wie ich die Welt sehe".)

Как странно устроена наша участь, участь земных людей! Каждый из нас здесь – лишь ненадолго, как на коротком визите. Он не знает, ради чего пришёл, хотя порой ему кажется, будто он это чувствует.

Но если смотреть без особой глубины – с точки зрения повседневной жизни, – становится ясно другое: мы существуем **для других**. Прежде всего – для тех, от чьей улыбки и благополучия целиком зависит наше собственное счастье; но также и для множества незнакомых нам людей, с чьими судьбами нас связывает нить сочувствия.

Каждый день – бесчисленное количество раз – я вспоминаю, что моя внешняя и внутренняя жизнь держится на труде людей, живущих сейчас и уже ушедших, и что я обязан напрягать силы, чтобы **отдавать** в той же мере, в какой получал – и всё ещё получаю.

Мне близка умеренность; и нередко меня тяготит чувство, что я присваиваю себе больше человеческого труда, чем необходимо. Различия между социальными классами я не считаю справедливыми и, в конечном счёте, вижу в них опору на силу. Я также убеждён: простая и нетребовательная внешняя жизнь полезна каждому – и телесно, и душевно.

В философском смысле я вовсе не верю в человеческую свободу. Каждый действует не только под внешним принуждением, но и согласно внутренней необходимости. Афоризм Шопенгауэра: «человек может делать, что хочет, но не может хотеть того, чего хочет» – с юности жил во мне; и при виде жизненных тягот, а тем более при собственных тяготах и тяготах других людей, он снова и снова становился для меня утешением и неиссякаемым источником терпимости.

Это сознание благотворно смягчает чувство ответственности, которое так легко становится парализующим; оно мешает нам относиться слишком серьёзно и к себе, и к другим – и ведёт к такому взгляду на жизнь, в котором **юмору** тоже принадлежит законное место.

Спрашивать о смысле или цели собственного существования – равно как и существования живых созданий вообще – мне всегда казалось бессмысленным с «объективной» точки зрения. И всё же у каждого человека есть идеалы, которые задают направление его стремлениям и его суждениям.

В этом смысле удобство и счастье никогда не казались мне самоцелью (этическую основу такого рода я называю идеалом **свиного стада**). Идеалами, которые освещали мне путь и снова и снова наполняли меня мужеством жить, были **добродетель, красота и истина**.

Без чувства внутреннего родства с людьми близкого склада; без обращения к объективному – к тому вечному, недостижимому до конца, что живёт в искусстве и в научном поиске, – жизнь показалась бы мне пустой. А банальные цели человеческих усилий – собственность, внешний успех, роскошь – с ранних лет казались мне презренными.

Моё страстное чувство социальной справедливости и социальной обязанности всегда странным образом соседствовало с резко выраженным отсутствием потребности в непосредственной близости с людьми и человеческими общностями. Я – настоящий одиночка: государству, родине, кругу друзей, да и даже тесной семье я никогда не принадлежал всем сердцем; рядом со всеми этими связями во мне неизменно жило чувство отчуждения и потребность в одиночестве – чувство, которое с возрастом только усиливается.

Ты очень остро, но без сожаления ощущаешь границы взаимопонимания и согласия с другими. Да, человек такого склада теряет часть беззаботности и невинной лёгкости; зато он становится гораздо менее зависим от мнений, привычек и приговоров окружающих – и меньше рискует строить внутреннее равновесие на столь ненадёжном основании.

Мой политический идеал – демократический. Каждый должен быть уважаем как личность, и никто не должен быть обожествлён. Ирония судьбы в том, что другие люди оказывали мне куда больше восхищения и почитания, чем я заслуживал, – и не по моей вине. Вероятно, это идёт от желания – для многих невыполнимого – понять те немногие мысли, которые я в непрерывной борьбе нашёл своими слабыми силами.

Я прекрасно понимаю: для достижения любой организованной цели необходимо, чтобы кто-то мыслил, распоряжался и нёс общую ответственность. Но ведомые не должны быть принуждаемы; они должны иметь возможность выбирать руководителя. Авторитарный строй принуждения, по моему убеждению, быстро вырождается: насилие всегда притягивает людей морально неполноценных, и, как мне кажется, это почти закон – что у гениальных тиранов наследниками оказываются негодяи.

По этой причине я всегда был страстным противником таких систем, какие мы ныне видим в Италии и в России. То, что в Европе демократическая форма управления попала в немилость, нельзя сваливать на сам демократический принцип; виной – нестабильность верховной власти и обезличенный характер выборного механизма.

Мне кажется, Соединённые Штаты Северной Америки в этом отношении нашли верное решение: они избирают на достаточно долгий срок ответственного президента, обладающего такой властью, чтобы действительно быть носителем ответственности. В то же время я ценю в нашем государственном устройстве более широкую заботу об индивидууме в случае болезни и нужды.

Но подлинно ценным в человеческом механизме я считаю не государство, а творческую и чувствующую личность. Только она создаёт благородное и возвышенное; тогда как толпа как таковая остаётся тупой в мышлении и тупой в чувстве.

И здесь я подхожу к худшему порождению стадного начала – к военному делу, которое я ненавижу. Если человек способен с удовольствием маршировать в строю под музыку, я уже презираю его: ему просто по ошибке достался большой мозг, ведь ему вполне хватило бы спинного. Этот позорный шрам цивилизации следует стереть как можно скорее.

Героизм по команде, бессмысленная жестокость и жалкая «патриотическая горячка» – как пламенно я это ненавижу, какой низкой и отвратительной кажется мне война! Я скорее дал бы себя разорвать на куски, чем принял бы участие в таком подлом деле. И всё же я думаю о человечестве достаточно хорошо, чтобы верить: этот морок давно бы исчез, если бы здравый смысл народов не был систематически растлеваем деловыми и политическими интересантами – через школу и прессу.

Самое прекрасное, что мы способны пережить, – **тайна**. Она – первооснова чувства, у колыбели истинного искусства и истинной науки. Кто не знает этого, кто уже не умеет удивляться и благоговеть, тот, можно сказать, мёртв, и его глаз погас.

Переживание таинственного – пусть и смешанное со страхом – породило и религию. Знание о существовании того, что для нас непроницаемо; о проявлениях глубочайшего разума и ослепительной красоты, доступных нашему уму лишь в самых примитивных формах, – это знание и это чувство и составляют подлинную религиозность. В этом смысле – и только в этом – я принадлежу к глубоко религиозным людям.

Бога, который награждает и наказывает создания, и вообще имеет «волю», подобную той, которую мы переживаем в себе, я представить не могу. Как не могу и не хочу мыслить и о личности, переживающей собственную телесную смерть; пусть слабые души питают подобные мысли из страха или смешного эгоизма.

Мне достаточно тайны вечности жизни – и сознания, и предчувствия чудесного устройства бытия – а также смиренного стремления понять хотя бы крошечную часть того разума, который проявляется в природе.

О смысле жизни

(перевод с нем. “Vom Sinn des Lebens”)

В чём смысл нашей жизни – и смысл жизни всех живых существ вообще? Знать ответ на этот вопрос – значит быть религиозным.

Вы спросите: есть ли вообще смысл задавать такой вопрос? Я отвечу: тот, кто ощущает свою жизнь и жизнь ближних как бессмысленную, не только несчастен – он едва ли способен жить.

Истинная ценность человека

(перевод с нем. “Der wahre Wert eines Menschen”)

Подлинная ценность человека прежде всего определяется тем, **в какой мере и в каком смысле** он пришёл к освобождению от «я».

О богатстве

(перевод с нем. “Vom Reichtum”)

Я твёрдо убеждён: **никакие богатства мира** не способны продвинуть человечество вперёд – даже в руках человека, сколь бы предан он ни был цели. Лишь пример **великих и чистых** личностей может вести к благородным взглядам и поступкам. Деньги притягивают только корысть и всегда, почти неизбежно, соблазняют к злоупотреблению.

Можно ли представить Моисея, Иисуса или Ганди, вооружённых **денежным мешком Карнеги**?

Сообщество и личность

(перевод с нем. “Gemeinschaft und Persönlichkeit”)

Когда мы размышляем о своей жизни и своих стремлениях, мы довольно скоро замечаем: почти всё, что мы делаем и чего желаем, **привязано к существованию других людей**. Мы видим, что по самому своему устройству напоминаем животных, живущих стаями и сообществами. Мы едим пищу, произведённую другими; носим одежду, сделанную другими; живём в домах, построенных другими. Большую часть того, что мы знаем и во что верим, нам сообщили другие люди – через язык, который тоже создан не нами. Без языка наше мышление было бы крайне бедным, сравнимым с мышлением высших животных; и потому приходится признать: главное, чем мы превосходим животных, мы в первую очередь обязаны **жизни в человеческом сообществе**.

Оставленный один с рождения, человек в своём мышлении и чувствовании остался бы примитивным, почти звериным – в степени, которую нам трудно даже вообразить. То, чем является и что значит отдельный человек, определяется не столько им как одиночным существом, сколько им как членом большого человеческого сообщества, которое ведёт его материальное и духовное бытие от рождения до смерти.

Ценность человека для его сообщества прежде всего зависит от того, **в какой мере** его чувства, мысли и поступки направлены на поддержание и улучшение жизни других людей. В зависимости от того, как человек в этом отношении настроен, мы обычно называем его хорошим или плохим. С первого взгляда может показаться, будто именно социальные качества человека и должны служить единственной мерой оценки.

И всё же такая точка зрения была бы неверной. Нетрудно увидеть: все материальные, умственные и нравственные блага, которые мы получаем от общества, возникли на протяжении бесчисленных поколений из труда **творческих одиночных личностей**. Один когда-то открыл людям огонь, другой – выращивание питательных растений, третий изобрёл паровую машину.

Только отдельный индивид способен **мыслить**, а значит – создавать для общества новые ценности; более того, он способен устанавливать новые нравственные нормы, по которым затем живёт сообщество. Без творческих личностей, умеющих думать самостоятельно и судить самостоятельно, невозможно представить себе развитие общества – так же, как невозможно развитие отдельной личности без питательной почвы сообщества.

Здоровое общество, следовательно, в равной степени связано и с **самостоятельностью** индивидов, и с их **глубокой социальной связанностью**. С полным основанием говорили, что греко-европейско-американская культура вообще – и особенно культурный расцвет итальянского Возрождения, сменивший средневековый застой в Европе, – опиралась на освобождение и на относительную изоляцию личности.

Теперь оглянемся на наше время. Что происходит с сообществом, и что происходит с личностью? Население в культурных странах стало поразительно плотным; Европа сегодня насчитывает примерно **втрое больше людей**, чем сто лет назад. Но число прирождённых лидеров сократилось несоразмерно. Лишь немногие благодаря своей созидательной работе известны массам как личности. Организация в определённой мере заменила лидеров – особенно в технике, но в заметной степени и в науке.

Особенно болезненно отсутствие ярких индивидуальностей ощущается в искусстве. Живопись и музыка явно выродились и во многом утратили живой отклик у народа. В политике проблема не только в нехватке лидеров: в значительной мере ослабли и умственная самостоятельность, и чувство права у гражданина. Демократическая, парламентская организация, которая предполагает такую самостоятельность, во многих местах пошатнулась; возникли диктатуры – и их терпят, потому что чувство достоинства и права личности уже недостаточно живо.

За две недели газеты способны в какой-нибудь стране привести бездумную массу в такое состояние ярости и возбуждения, что люди готовы, надев солдатскую форму, **убивать и быть убитыми** ради ничтожных целей каких-то заинтересованных групп. Воинская повинность кажется мне самым постыдным симптомом недостатка личного достоинства, от которого сегодня страдает наша цивилизация. Поэтому не переводятся пророки, предсказывающие скорую гибель нашей культуры.

Я не принадлежу к этим пессимистам и верю в лучшее будущее. Коротко поясню, на чём основана эта уверенность.

Нынешние признаки упадка, по-моему, происходят от того, что развитие экономики и техники резко обострило борьбу за существование, и от этого свободное развитие личности сильно пострадало. Однако технический прогресс требует от отдельного человека всё меньше труда для удовлетворения потребностей целого. Планомерное распределение работы становится всё более настоятельной необходимостью – и такое распределение приведёт к **материальной защищённости** людей.

Эта защищённость, а также свободное время и силы, которые останутся у человека, смогут благоприятно сказаться на развитии личности. Тогда сообщество сможет снова стать здоровым – и мы вправе надеяться, что будущие историки истолкуют социальные «болезненные симптомы» нашей эпохи как **детские болезни** человечества, стремящегося к более высокой степени, – болезни, вызванные лишь слишком быстрым темпом культурного процесса.

Государство и личная совесть

(перевод с нем. *“Der Staat und das individuelle Gewissen”*)

Это вопрос древний: **как должен вести себя человек**, когда государство предписывает ему поступки, а общество ожидает от него позиции, которую собственная совесть признаёт неправой?

Ответ напрашивается сам собой: ты целиком зависишь от общества, в котором живёшь. Значит, ты обязан подчиняться его предписаниям. Тебя нельзя считать ответственным за действия, совершённые под **неодолимым принуждением**.

Достаточно произнести это вслух, чтобы заметить, насколько подобный взгляд противоречит нормальному чувству права. Внешнее давление может **в некотором смысле** смягчать ответственность человека, но не способно её отменить. Во время Нюрнбергских процессов эту точку зрения, по сути, приняли как нечто само собой разумеющееся.

Всё, что в наших учреждениях, законах и обычаях имеет моральную ценность, происходит из проявлений чувства права у бесчисленного множества отдельных людей. Сами по себе институты – в нравственном смысле – бессильны, если их не поддерживает и не несёт на себе **чувство ответственности живых людей**.

Поэтому стремление пробуждать и укреплять в людях это нравственное чувство ответственности – важнейшая служба общему благу.

В наше время на представителях естественных наук и на инженерах лежит особенно большая моральная ответственность: ведь разработка средств **военного массового уничтожения** относится к сфере их деятельности. Поэтому мне кажется, что создание «*Британского общества за социальную ответственность в науке*» отвечает подлинной потребности.

Подобное объединение помогает каждому – через обсуждение проблем – добиваться самостоятельного суждения о пути, который ему следует выбрать. Кроме того, крайне необходима взаимная поддержка тех, кто попадает в трудное положение именно потому, что **следует голосу совести**.

Добро и зло

(перевод с нем. “*Gut und Böse*”)

В принципе верно, что больше всего любви следует отдавать тем, кто больше всех способствовал **облагораживанию людей** и человеческой жизни. Но стоит спросить дальше – **какие именно** это люди, – и мы сталкиваемся с немалыми трудностями.

С политическими, да и с религиозными вождями чаще всего совсем не ясно, чего в их воздействии было больше – добра или зла. Поэтому я всерьёз считаю: лучше всего служишь людям, когда **занимаешь их благородным делом** и тем самым косвенно облагораживаешь.

В первую очередь это относится к великим художникам, а во вторую – также и к исследователям. Верно, что результаты исследования сами по себе не делают людей благороднее и богаче; но это делает **стремление к пониманию**, продуктивная и воспринимающая духовная работа.

Поэтому было бы, конечно, крайне неуместно оценивать ценность **Талмуда** по его “интеллектуальным результатам”.

2. Наука как духовная дисциплина: вера, этика, свобода мысли

Религия и наука

(перевод с нем. *“Religion und Wissenschaft”*)

Всё, что люди делают и придумывают, служит удовлетворению ощущаемых потребностей и облегчению страданий. Это нужно постоянно держать в уме, если мы хотим понимать духовные движения и их развитие. Ведь **чувства и стремления** – двигатель всякого человеческого искания и всякого творения, как бы возвышенно ни выглядели его плоды.

Какие же чувства и нужды привели людей к религиозному мышлению и вере в самом широком смысле? Если вдуматься, мы скоро увидим: у колыбели религиозного переживания стоят самые разные импульсы.

У первобытного человека это прежде всего **страх**, порождающий религиозные представления: страх голода, диких зверей, болезни, смерти. Поскольку на этой ступени существования понимание причинных связей обычно слабо, человеческий дух “рисует” себе более или менее сходных с нами существ, от воли и действий которых будто бы зависят пугающие события. Тогда и возникает мысль: можно повлиять на расположение этих существ – совершая поступки и принося жертвы, которые, по верованию, передаваемому из поколения в поколение, способны их умиловить и сделать благосклонными к человеку.

Такую форму религии я называю **религией страха**. Её не создают, но существенно укрепляют, когда возникает особая **жреческая каста**, объявляющая себя посредницей между страшными силами и народом и на этом строящая своё господство. Нередко политический вождь или правящий слой, опирающийся на иные основания, соединяет свою светскую власть с жреческими функциями – чтобы обезопасить власть; либо возникает союз интересов между политической верхушкой и жречеством.

Второй источник религиозного оформления – **социальные чувства**. Отец и мать, руководители больших человеческих общностей смертны и несовершенны. Жажда руководства, любви и опоры побуждает к возникновению социального, или морального, понятия Бога. Это Бог промысла – тот, кто защищает и направляет, награждает и карает; Бог, который – в зависимости от горизонта человека – “любит” и “поддерживает” жизнь племени, человечества, да и жизнь вообще; утешитель в несчастье и неутолённой тоске; тот, кто хранит души умерших. Таков **социальный или моральный образ Бога**.

В священных книгах еврейского народа можно хорошо проследить развитие от религии страха к моральной религии. Продолжение этого процесса мы видим в Новом Завете. Религии всех культурных народов – и особенно народов Востока – в основном являются **моральными религиями**. Переход от религии страха к моральной религии – важный шаг вперёд в жизни народов.

Но нужно остерегаться предрассудка, будто религии “первобытных” – это чистая религия страха, а религии “культурных” – чистая моральная религия. На деле все они – **смешанные типы**, лишь с тем различием, что на более высоких ступенях общественной жизни начинает преобладать моральная религия.

Для всех этих типов общим остаётся **антропоморфность** идеи Бога. Существенно подняться над этой ступенью религиозного переживания обычно удаётся только особенно богатым внутренне индивидуумам и особенно благородным общностям. Но у всех существует ещё и третья ступень религиозного чувства – хотя и редко в чистом виде; я назвал бы её **космической религиозностью**. Её трудно сделать понятной тому, кто сам ею не обладает, – тем более что ей не соответствует никакое “человекообразное” понятие Бога.

Индивид ощущает ничтожность человеческих желаний и целей и величие, удивительный порядок, который открывается в природе и в мире мысли. Он переживает индивидуальное существование как своего рода тюрьму и стремится ощутить целокупность сущего как **единое и осмысленное**.

Зачатки космической религиозности встречаются уже на ранних ступенях развития – например, в некоторых псалмах Давида и у отдельных пророков. Гораздо сильнее космическая компонента выражена в буддизме – что особенно хорошо показали нам замечательные труды Шопенгауэра.

Религиозные гении всех времён отличались именно этой космической религиозностью: она не знает догм и не знает Бога, созданного по образу человека. Поэтому не может существовать и церковь, чьё главное учение строилось бы на космической религиозности. Отсюда и то, что мы нередко находим людей, исполненных этой высшей религиозности, среди “еретиков” всех эпох: современникам они часто казались атеистами – иногда святыми. С этой точки зрения такие люди, как Демокрит, Франциск Ассизский и Спиноза, близки друг другу.

Но как вообще можно передать космическую религиозность от человека к человеку, если она не приводит ни к оформленному понятию Бога, ни к теологии? Мне кажется, важнейшая функция искусства и науки – **пробуждать** это чувство у восприимчивых и **поддерживать** его живым.

Так мы приходим к пониманию отношений науки и религии, сильно отличающемуся от привычного. Если смотреть исторически, легко решить, будто наука и религия – непримиримые противники, и этому есть понятная причина.

Тот, кто проникнут причинной закономерностью всего происходящего, не может допустить идеи существа, которое вмешивается в ход мировых событий – если, конечно, он всерьёз принимает гипотезу причинности. Религии страха для него нет места; но нет места и социальной, моральной религии. Бог, который награждает и наказывает, для него немыслим уже потому, что человек действует по внешней и внутренней закономерной необходимости – а значит, с “точки зрения Бога” он был бы не ответственнее, чем неодушевлённый предмет, совершающий свои движения.

Поэтому науку порой упрекали в том, что она подрывает мораль, – однако, на мой взгляд, совершенно несправедливо. Этическое поведение человека должно надёжно опираться на **сочувствие**, воспитание и социальные связи – и не нуждается в религиозном основании. Печально было бы, если бы людей приходилось удерживать лишь страхом наказания и надеждой на награду после смерти.

Понятно, что церкви издавна боролись с наукой и преследовали её сторонников. Но, с другой стороны, я утверждаю: именно **космическая религиозность** – сильнейший и благороднейший двигатель научного исследования.

Только тот, кто способен оценить колоссальные усилия и прежде всего **самоотдачу**, без которых невозможны прорывные научные создания, может понять силу чувства, из которого вырастает работа, так далёкая от непосредственной практической жизни.

Какой глубокий доверие к разумности мироздания и какая жажда понять хотя бы слабый отблеск открывающегося в мире разума должны были жить в Кеплере и Ньютоне, чтобы они в одинокой многолетней работе сумели распутать механизм небесной механики!

Тот, кто знает научное исследование в основном по его практическим последствиям, легко получает совершенно ложное представление о духовном состоянии людей, которые – окружённые скептическими современниками – указывали пути единомышленникам, рассеянным по странам земли и по векам.

Лишь тот, кто посвятил жизнь подобным целям, способен живо представить себе, что вдохновляло этих людей и давало им силы оставаться верными цели, несмотря на бесчисленные неудачи. Это **космическая религиозность** даёт такие силы.

Один современник не без основания сказал, что серьёзные исследователи в нашу, вообще говоря, материалистически настроенную эпоху – единственные люди, по-настоящему глубоко религиозные.

Религиозность научного исследования

(перевод с нем. *“Die Religiosität der Forschung”*)

Вы вряд ли найдёте действительно глубокий научный ум, которому не была бы присуща своеобразная религиозность. Но эта религиозность отличается от религиозности наивного человека.

Для наивного человека Бог – это существо, на чью заботу надеются и чьего наказания боятся; это возвышенное чувство, сродни отношению ребёнка к отцу; существо, с которым человек, так или иначе, состоит в личной связи – сколь бы почтительной эта связь ни была.

Исследователь же проникнут убеждённостию в причинной закономерности всего происходящего. Будущее для него не менее необходимо и определено, чем прошлое. Нравственное для него – не дело божественное, а дело сугубо человеческое.

Его религиозность – в восторженном изумлении перед гармонией естественных законов, в которой открывается разум столь превосходящий, что всё осмысленное в человеческом мышлении и устройении рядом с ним – лишь ничтожный отблеск. Это чувство и есть ведущий мотив его жизни и стремления – насколько это стремление вообще способно подняться над рабством эгоистических желаний.

Несомненно, это чувство близко родственно тому, которое наполняло религиозно-творческие натуры всех времён.

Потерянный рай

(перевод с нем. *“Verlorenes Paradies”*)

Ещё в семнадцатом веке учёные и художники всей Европы были так крепко связаны общим идеалистическим союзом, что их сотрудничество почти не зависело от политических событий. Всеобщий обиход латинского языка ещё сильнее укреплял это единство.

Сегодня мы смотрим на ту ситуацию как на потерянный рай. Национальные страсти разрушили общность умов, а латинский язык, который когда-то объединял всех, умер.

Учёные, превратившиеся в носителей самых радикальных национальных традиций, утратили чувство общности.

И вот мы стоим перед ошеломляющим фактом: политики, люди практического действия, стали носителями международной мысли. Это они создали Лигу Наций.

Необходимость этической культуры

(перевод с нем. *“Die Notwendigkeit der ethischen Kultur”*)

Мне хочется пожелать вашему «Обществу этической культуры» – по случаю юбилея – счастья и успеха. Но это едва ли повод с удовлетворением вспоминать, чего достигло честное стремление в области морали за эти семьдесят пять лет. Потому что нельзя утверждать, будто нравственное устройство человеческой жизни в целом сегодня совершеннее, чем в 1876 году.

Тогда было распространено мнение, что можно надеяться на всё – стоит лишь просветить людей научно установленными фактами и бороться с предрассудками и суевериями. Всё это, конечно, важно и достойно усилий лучших; и в этом отношении за семьдесят пять лет многое действительно достигнуто и распространено – в литературе и на сцене.

Но одно лишь устранение препятствий ещё не ведёт к облагораживанию общественного и личного существования. Наряду с этим «негативным» действием решающее значение имеет **позитивное** стремление к этико-нравственному устройению человеческого сожителства. Здесь никакая наука не спасёт нас.

Я даже думаю, что чрезмерное подчеркивание чисто интеллектуальной установки – часто направленной лишь на фактическое и практическое – в нашем воспитании прямо привело к угрозе нравственным ценностям. Я имею в виду не столько опасности, которые технический прогресс принёс людям непосредственно, сколько то, как взаимные человеческие внимания и деликатность оказываются заглушены «фактологическим» мышлением – мышлением *matter of fact*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.